

Глава 40. Весна, капель с крыш.

Женщины, поздоровавшись и водрузив перед учётчицей ведра с молоком, ныряли за фанерную стенку, которая разделяла комнату пополам. Там слышалась шумная возня, голоса и смешки.

— Эй, женщины, — нетерпеливо крикнул за перегородку Кардашевский, — пора и совесть поиметь. Ждёт ведь Алексей Прокопьевич...

— Долго ли ждёт? — донёсся из-за фанеры задорный голосок. — Говорят, в приёмных у начальников люди сутками сидят. Пусть Алексей Прокопьевич искупает грехи...

— Если бы так просто было грехи искупать, неделю бы у вас просидел, — вздохнул Аржаков. Народ наконец расселся. — Все в сборе? Женщины, дорогие, что же это у вас на ферме творится?

Женщины зашумели, пошёл знакомый разговор: корма подвозят несвоевременно, трактор без горючего, райпотребсоюз обманул с комбикормами... Кардашевский тоже не оставался в долгу — стал поимённо называть и любительниц позоревать в тёплой постели, и болтушек, про которых пословица: шутила да смеялась, а солнце уж заходит...

— Нет, председатель, ты меня лентяйкой не обзывай. Я тут с вами лясы точу, а у меня двое под замком сидят.

— На собрании решили: концентраты всем поровну! Что ж ты, Егор Егорович, против народа идёшь? Всё мимо нас в Ымыяхтаах возишь?..

— Неразумные вещи говоришь, Лариса. Как же туда не возить, пока ещё дорога стоит! Или Ымыяхтаах — не наш колхоз? Заладила о концентратах, будто в них одних дело.

— А то не в них? Или запомятовал, Егор Егорович, что у коровы молоко на языке?

— Ты, дева Лариса, помолчи немного! Своему языку дай отдохнуть! — говорит старая Алексаш. На руках у неё синие жилы, щёки отморожены, в тёмных пятнах. Старуха она властная, самого секретаря райкома Алексеем зовёт.

— Почему надои упали? Да метель чёртова была, две недели под снегом сидели. На Ымыяхтаахе ещё труднее, мы понимаем. Но молоко будет...

— Вот! Уважаемая Алексаш мудро сказала! — Кардашевский приободрился, отыскивая переход к главному — к соцобязательствам на весенний период.

Однако после объяснений Алексаш доярки неожиданно затихли, словно выдохлись, накричавшись.

Наступает тягостная пауза.

— Охо-хо, — вздыхает женщина в стороне, она сушит над плитой сырую шаль. — Телята да надои, телята да надои... Другие слова совсем позабудешь.

— Да ведь на ферме работаешь, Аксю, а не на флоте, — возражает Кардашевский. — О чём же другом прикажешь нам беседовать?

— Погоди-ка, Егор Егорович, — останавливает его Аржаков. — Аксиньей вас зовут?

— Ну, Аксинья. — Женщина, смешавшись, мнёт свою шаль.

— А отец кто?

— Мой отец? Да что о нём, о покойнике, говорить-то?

— Звали отца как?

— А... Фёдором звали.

— Аксинья Фёдоровна, идите к нам в круг, что в стороне-то... — Аржаков освобождает женщине место. — «Телята да надой»... Очень печально это у вас получилось. Уж не горе ли какое?

Пока Аксинья идёт к скамье, устраивается на самом краешке, Кардашевский успевает шепнуть секретарю: «Антипина фамилия... Муж мотористом был, неладно жили...»

Аржаков смотрит в измученное лицо женщины.

— Говорю, уж не горе ли у вас какое?.. Конечно, если не секрет.

— А какие у меня секреты? Моя беда всем известна. Все мои слёзы на виду... Третий раз замужем. Пьяницей оказался, детей бьёт. Теперь и вовсе куда-то сбежал, прощай не сказал... А у меня трое... Сыночек, такой умный паренёк! Говорит мне: ничего, мама, к весне кончу школу, пойду в колхоз, хорошо заживём. Всю семью, говорит, кормить буду!.. Ах ты, Гошенька, говорю, ах, сыночек, если бы сбылись твои мечты, как бы мы зажили! Чуть полегчало у меня со здоровьем, уговорились мы с сыном: ты, Гошенька, кончай свою школу, а я пока на ферме поработаю. Когда-то ведь умела... Вот как мы всё хорошо придумали с сыном.

— И что же? Трудно вам на ферме?

— Не обо мне речь — о сыне...

— Заболел?

— Хуже чем заболел. Является домой: бросаю школу! И до экзаменов дотерпеть не хочет. А ведь учиться было стал совсем хорошо. Проклятый наш Арылах, говорит, нет здесь правды. Хочет ехать в город, в ремесленное училище, а потом, говорит, и вас отсюда заберу. Все надежды наши прахом пошли...

— Да что же он, твой Гоша, так на родной Арылах?

— А то... Учителя у них несправедливо уволили! Сергея Аласова. Я с ним в одном классе училась... Гоша мальчик умный, верно говорит: какая тут может быть правда, когда лучшего человека в шею гонят!

Аржаков вопросительно смотрит на Кардашевского, тот морщится, как от болячки.

— Старые разговорчики!

— Оболгали его! Всё неправда! — Аксю костлявым побелевшим пальцем оттягивает на себе ворот, словно он душит её.

— Хорошо, хорошо, Антипина, — пытается успокоить её председатель. — С Аласовым разберутся по совести, будь уверена. А мы собрались, чтобы о ферме подумать, о надоях.

Но от Аксю не так-то легко отделаться, у неё своя беда, и она для неё из всех бед беда.

— Вот я и говорю — вам надои да надои! А у доярки горе — это что, не надои? Вон Ласточка, лучшая моя молочница, совсем доиться перестала: чувствует ведь, что у хозяйки беда. За Серёжу Аласова вы все ещё ответите!

— Отстань ты, Антипина, со своим Серёжей Аласовым! — теряет выдержку Кардашевский. — С чего это мы станем здесь школьные дела решать!

Но председательский окрик только взвинчивает обстановку, за Аксю вступаются другие.

— Что говорить, клевета на учителя, любой скажет!..

— Вот, пожалуйста, хотел паренёк к нам в колхоз, а теперь — «в ремесленное поеду...». Такие мы хозяева!

— Это завуч из-за жены своей затеял. Я-то всю правду знаю...

— Правда — как масло над водой, всегда всплывёт!

— Ещё и девочку Габышеву к учителю приплели... Девочку не пожалели!

— Учителя называются! Как соберётся двое-трое — непременно у них склока...

— Не наше это дело в школьное лезть...

— Как «не наше дело»! В школе-то дети наши!

Кардашевский только успевает вертеть головой от одной женщины к другой. Поёживается и Аржаков.

И снова, как давеча, конец смуте кладёт старая баба Алексах — такая у неё повадка.

— Разгалделись! А Лариска-то громче всех... Сядь на место, Аксинья! От тебя сегодня у гостей наших головы разболются...

— Для того и говорим, чтобы слушали.

— Вся деревня об Аласове шумит, а иные ходят, будто уши у них заложило. Ничего, от нас узнают!..

— Потихе, говорю! Ты, Аксю, с этим Серёжей хоть в школе училась. А мне он никто. И в школе я вовсе не была. Но за правду заступлюсь. Оклеветали учителя — верно, все говорят. Кроме хорошего, ничего об Аласове не слыхала. Почему же такая несправедливость? Говорят: это райком велел. Хорошо. А вот

перед нами самый главный райком. Сейчас мы его и спросим: скажи, Алексей, за что ты сына бабы Дарьи из школы велел прогнать?

Как тут быть Аржакову? Не станешь же объяснять, что хоть ты и «главный райком», но об учителе Аласове слышишь впервые, что по структуре райкома школы входят в компетенцию второго секретаря...

— Я предупреждаю! — кричит Акси́нья о своём. — Если Гоша уедет — и дня на ферме не останусь!

Аржаков встаёт.

— Вижу, вопрос не шуточный. Только я вам честно признаюсь: ничего об этом не знаю. Был в отъезде, вчера только вернулся. Одно обещаю: всё по ниточке переберу, пока сам не разберусь, хотя... Не один я вопросы решаю.

— Так-то оно так!

— Да, товарищи, именно так! — перехватывает инициативу Кардашевский. — А сейчас прошу вернуться к нашим соцобязательствам...

— Что к ним возвращаться? Доим и доить будем. Вы вот прежде телят — о детях решите...

— Верно, у меня дома двое под замком!

— Всё говорим, говорим...

— Будем кончать, товарищи женщины. Одно словечко только: вот вы, баба Алексах, напрасно думаете, что начальство больше о телятах печётся, чем о детях.

— Да я тебя не попрёкаю, Алексей! Однако послушай старуху — не дай погубить хорошего человека.

— Хорошего не дам, баба Алексах!

— Вот и слава богу.

В «газике» Аржаков сел не рядом с шофёром, как обычно, а сзади, потеснив Кардашевского. Тот сердито сопел.

— Ты чего, Егор Егорович?

— Чёрт бы побрал эту Антипину! Всю обедню испортила. Высунулась с этим своим Серёжей.

— Кстати, о Серёже. В чём его обвиняют?

— Избиение колхозника... Как раз этого беглого, мужа Антипиной. Я бы и сам ему под горячую руку...

— Ещё что?

— Склоку завёл в коллективе, подстрекал учеников против завуча. Есть там и чепуха, навертели, как обычно.

— А именно?

— Любовную связь со школьницей пришивают. Я лично этому мало верю. Не таким человеком он мне показался.

— А каким?

— Сложный человек, конечно. В чём-то путаник, горяч больно... Но в смысле моральном, уверен.

— А о школе... на селе огласка есть?

— Ещё какая! До больницы дело дошло — хотела самоубийством покончить.

— Чёрт возьми! А как родители девушки, тянут учителя в суд?

— Наоборот! Защищают его как могут. Да нет, с девочкой явная липа...

— Сокорутов приезжал?

— Нет, не приезжал. Платонов был.

— А какова твоя лично позиция в этом деле?

— Да никакая... Я-то тут при чём?

— Ишь ты... Парторганизация у вас со школой общая? Школа не чья-нибудь, а посреди твоего колхоза? Это ведь твоя школа, председатель!

Однако Кардашевский и бровью не повёл. Он не лезет в эту грязь и лезть не собирается. Председателю с одними бы колхозными делами с ума не свихнуться! Привыкли на председателя всё сваливать — и детские ясли, и школы, и уход за кладбищами!

— А я, Алексей Прокопьевич, не школьный специалист и не судебный следователь...

— Председатель — да, он только за свой колхоз отвечает. А коммунист? «За Россию, за народ и за всё на свете». Как сказал поэт... Между прочим, исключительно верно сказано!

До самого правления они не обмолвились больше ни словом. Было за полдень, заметно потеплело, крупные капли падали с крыш. Шли мальчишки из школы, шумели, как весенние воробьи. Снег слепил глаза.

— Может, зайдём к Аласову? — спросил Аржаков, когда машина встала перед крыльцом правления.

— Нет, не пойду, — решительно сказал Кардашевский. — Не взыщи, Алексей Прокопьевич.

— Ну как знаешь.

— А дом его...

— Ладно, сам найду.

Аржаков неспешно шёл деревенской улицей, шурясь на солнце и ощущая подошвами непривычную податливость снежной тропинки.

Ух, как расшумелись доярки — до сих пор в ушах звон. Для тебя школа — один из многих «секторов», а для них: «В школе дети наши, не чьи-нибудь!»

Между прочим, спроси тебя, уважаемый секретарь, к примеру, об арылахском колхозе — назовёшь поимённо всё руководящее звено, припомнишь все угоды. А что ты знаешь о здешней десятилетке?

Действительно, что? Гм... Левин вот был, Всеволод Николаевич... А директор и завуч — эти уже туманнее... Помнится, грамоты им вручал... Да, вот ещё, был недавно случай... У Аржакова товарищ старый, сто лет знакомы, сейчас в больших начальниках ходит. Получает от него частное письмо с просьбой. Некий знаменитый в столице республики бухгалтер, исключительно почтенный человек, недавно вышел на пенсию, плохое здоровье, подорванные нервы. А его единственную дочь заслали учительницей в Арылах. Просьба такова: нельзя ли уважить престарелых родителей, перевести дочь в Якутск? Основание в общем-то благопристойное: престарелые родители... Позвонил в Арылах, пригласил учительницу С.Т. Кустурову.

Юное существо будто с обложки иллюстрированного журнала — ресницы, причёска, тоненькая шейка, краснеет и тербит висюльки на кофточке.

Беседа вышла комическая. Девушка едва не расплакалась: «Ни за что! Никуда я из Арылаха не поеду».

Дурацкое положение: выходило, будто он, секретарь, предлагал молодой учительнице сделку с совестью, а юное существо преподало ему урок принципиальности. «Ах ты славная девушка», — подумал тогда Аржаков, провожая Саргылану Тарасовну на крыльцо. Велел отвезти её в Арылах на райкомовской «Волге» и долго ещё вспоминал тот разговор: если в районе такие учителя, за школьный сектор можно быть спокойным! А вот оказывается...

В тылах деревенской улицы, на просторном выгоне стояли мастерская и кузня. Там всё звенело, наполнилось весной, её весёлыми хлопотами. Эх ты, как наяривает кузнец со своим напарником! Весна, весна, чёрт возьми! Крестьянская душа секретаря сладко заныла при звуке наковальни, ноги сами едва не свернули туда, но он себя удержал.

Аржаков вошёл во двор. Стеной стоял снег, который отгребали целую зиму, желтели дорожки к хотону. Смоляной дух шёл от штабеля колотых дров, пригретых первым солнцем.

Около хотона возилась старая женщина с усталым тёмным лицом.

— Дома, дома он, — ответила, вглядываясь в незнакомого человека. — Урок у него.

— Урок? — не понял Аржаков.

Расспрашивать он не стал. Толкнул дверь, обитую коровьей шкурой. В прихожей было пусто. Однако из открытой двери комнаты был слышен отчётливый «учительский» голос. Похоже, на самом деле здесь шёл урок.

— ...Особо прошу обратить внимание на последний раздел. На экзаменах он будет во многих билетах.

— Сергей Эргисович, а вы сами в каких войсках воевали?

— В пехоте.

— Сергей Эргисович, на похоронах полковник выступал... который про Сашу Левина говорил... Вы в той же армии были?

— Нет, мы с Сашей Левиным на войне не встречались. Но всё, что говорил полковник, могу подтвердить. С Сашей мы дружили. Девочки его называли Подсолнушек. Такой сын только и мог быть у Левина... Мы вот говорили о роли партии в войне. И подумаете: не в том ли и состоит подвиг партии, что коммунисты Левины задолго до сорок первого уже ковали будущую победу — в людях, в таких, как Саша, как наш герой Фёдор Попов...

— Сергей Эргисович, на экзаменах это нужно говорить? Про Левина?

Тут учитель, как видно, развёл руками — все засмеялись. Аржаков снял шапку и присел в прихожей на табурет.

— Что ж, про Левина можно и на экзаменах говорить. Славный человек он был. Так он и стоит у меня в глазах, наш старый. Седой, а усы жёлтые. Рукой подбородок мнёт: «Тот не человек, — говорит, — который живёт как рыбак на берегу, авось клонет. Быть человеком — значит действовать!»

Посреди комнаты Аржаков сидел на табурете, зажав шапку в кулаке и склонив голову. Что-то давнее-давнее напомнили ему и слова о старом Левине, и сам голос учителя, и этот ребячий гомон.

Вот и школьники уже об экзаменах хлопочут. Кузнец наяривает в своей кузне — даже здесь слышен звон железа. Весна, капЕль с крыш...

Ведь и вправду весна, товарищи!